

*Моей жене Марии посвящаю эту книгу,
составленную едва ли не полностью
из моих писем к ней за годы заключения.*

1966–1971

...Книга, которая ходит вперед и назад, наступает и отступает, то придвигается вплотную к читателю, то убегает от него и течет, как река, омывая новые страны, так что, когда мы по ней плывем, у нас начинает кружиться голова от избытка впечатлений, которые при всем том текут достаточно медленно, предоставляя спокойную возможность обозреть их и провожать глазами, книга, имеющая множество сюжетов при одном стволе, которая растет, как дерево, обнимая пространство целостной массой листвы и воздуха — как легкие изображают собой перевернутую форму дерева, — способная дышать, раздаваясь вширь почти до бесконечности и тут же сжимаясь до точки, смысл которой непостижим, как душа в ее последнем зерне.

I

— Я буду говорить прямо, потому что жизнь коротка.

...Вообще интересно, как человек ищет лазейку, чтобы существовать. И ставит себе вопрос: а что если попробовать жить от противного? когда невозможно? когда самая мысль гасится усталостью и равнодушием ко всему? И вот тут-то, на этой голой точке, встать и начать!

Здесь всё немного фантастично — и лица, и вещи. Всё немного “воображаемый мир”. Токи ожиданий (конца — срока, жизни, света) сообщают мельчайшим фактам необычную возбужденность. Солнце низко над горизонтом, и поэтому тени длиннее.

Я вдруг убедился, какую роль для художника играет живая натура, доколе она не просто объект изображения, но метафора и дыхание его внутреннего мира. Для художника великое дело найти свою натуру. Ему всегда не хватает действительности, и он вынужден выдумывать. Когда же волей случая или силой судьбы ему подвергается жизнь, отвечающая его мыслям, он счастлив. Он смотрит на эту страну и говорит “моя”, точно она предназначена единственно для его созерцания. Смотреть на нее и радо-

ваться приметам, родственным его распростертой, рвущейся навстречу душе, доставляет такое же полное наслаждение, как сочинение тобой же запроектированной картины. Ты узнаешь себя в окружающем и чувствуешь, как в эти минуты жизнь достигает силы и насыщенности искусства. И нет нужды — сумеешь ли ты воплотить свое открытие. Оно дано тебе во владение, и этого достаточно. Так Пушкин впервые встретился с Бессарабией и наблюдал еще не написанных, но уже готовых цыган. Так Лермонтов застыл на века перед панорамой Кавказа.

...Был, и нету тебя. Ты только форма. Содержание — не ты, не твое. Запомни, ты только форма!

Они не живут — они экзистируют.

(Заключенные в лагере)

— Смотри: луна в окне — как живая!

Если жизнь пуста и скудна, одежда сера, то на этом бескрасочном фоне лицу предоставлено право повышенной изобразительности. Ему отводится место — восполнить недостающие звенья и ответственность за человека. И вот лицо становится откровенно утрированным. Почему у городских, у приличных в общем-то лиц появляется невнятность? Контуры затерты, ступшеваны неопределенным жирком — при наличии характера, костюма и положения. Но в старости или в тюрьме, там, где ничего не оставлено, страдание прорезало лица, и они высушены на зрителя: нос торчит, как копьё, и глаза мечут бисер, и рот оскален, за неимением стандартной улыбки, в нескрываемой жадности — быть. Лицо несет честь последнего представительства.

Старик читает справочник по элементарной математике. Сынок прислал соседу. Ничего не понимает. Какие-то синусы-косинусы. Все равно читает. От корки до корки: сынок прислал!

(Это — к душе вещей. Если бы ты сюда кому-нибудь прислала задачник по геометрии, я, наверное, не утерпел бы и тоже взял — посмотреть. Соприкосновение с лицом важнее содержимого книги.)

— В нашей теплой компании каждый остался жив чисто случайно и помнил потом об этом и рассказывал об этом всю жизнь.

— Кто жрет, а кто спит — у каждого своя способность.

— Нас было шесть камер — убийц.

— Если спросит Господь, что самое худшее-лучшее было в жизни. Худшее — выберу четыре эпизода. А лучшее — скажу: анаша.

— Вот это нас и губит, что мы думаем, что уйдем.
(О преступлениях)

— Время двигалось к оправке.
(Эпос)

— Воны смеюцца с руського человека!

— У меня организм атрофирован.

— Съешьте конфету, чтобы сладко было во рту.

...У меня все интересное, что происходит внутри и вокруг, имеет тайную сноску рассказать тебе, и я настолько привык все это сносить с тобою, что такое направление предметов к тебе и дает им смысл.

Когда меня спрашивают, что такое искусство, я начинаю тихо смеяться от удивления перед его непомерностью и своей неспособностью выразить, в чем же заключается все-таки его непрестанно меняющееся и притягивающее, как свет, содержание. Господи, всю жизнь я потратил только на то, чтобы раскусить его смысл, и вот в итоге ничего не умею и не знаю, как об этом сказать. Я говорю: “возможно”, “наверное”, “будем надеяться”, “не есть ли оно то или то”, и тотчас теряюсь в неразгаданности задачи. Поэтому так убивают определения присяжных эстетиков, в точности знающих, что оно такое (как будто это кому-нибудь удавалось, как будто это можно узнать!). Искусство всегда более-менее импровизированная молитва. Попробуйте поймать этот дым.

Все время кажется, что есть на свете какая-то книга, которую надо непременно прочесть, да только все никак не найду — какая?..

Отчего человек испытывает удовольствие?

Запоро́шенный пылью дорожною,
Я вернусь на себя не похож...

С какой страстью это поется! Точно нам хочется быть на себя непохожими и узнать — хотя бы так — чудо Преображения. Весь театр отсюда, все наряды: а я — не я.

Хочется тоже быть несчастным.

А у нас ни родных, ни знакомых,
И посылки нам некому слать...

Да и взять известную песню: “Теперь я горький сиротина”. Он не тройкой тешился, а тем, что — сиротина.

Приятно страшное.

— И умру я страшной смертью — от огня...

Это сказано с пафосом. С дрожью в голосе от благоговения перед торжественностью взятой ноты, обетованной судьбы...

Мне жить осталось мало —
Четырнадцать часов.
Хожу по одиночке,
Хожу я взад-вперед.

И вот встает из мрака
Любимая моя —
Вся блузка окровавлена
И запах кровяной.
— Скажи мне, детка славная,
Скажи мне, что с тобой?
.....
— Скорей, не жди погони,
Пришла я за тобой!
Там за стенами кони
И сумрак голубой.

Это как в балладах Жуковского. Я почему-то вспомнил “Ленору”.

Не грусти, милая. Волей судьбы мы перенесены в тот светло-зеленый, романтический период юности, когда

объясняются в чувствах пылкими письмами, клянутся в дружбе навеки, делятся планами жизни и вздыхают над фотографиями. У нас не было этой увертюры, и вот она сыграна где-то в середине действия, немного не попадая, на старости лет — для восполнения пропуска. Она позволяет все начать сначала и с толком с расстановкой пройти эти первые шаги, которые обычно пробегают, не оглядываясь, не думая о прошлом. А у нас есть на что оглянуться и на кого посмотреть, прибавив к прошлому трепетную надежду и робость бесстыдно, навзрыд произнесенного первого слова: — Возлюбленная!

6 мая 1966

Воспоминание. Во чреве китовом. Лестницы, снасти, мачты, палуба корабля, почему-то внутри корабля, железный трюм, железные внутренности, полутьма, кажущаяся мраком в первый момент, память: “где-то в кино видал”, расставленные ноги на палубе, вытянутая, настоженная шея, взмах руки, проходите, азбука жестов, заменяющая голоса, тишина, торжественное спокойствие клиники, больницы, медицинская часть — поэтому тишина. Палата. Приемный покой. Раздевайся. В тишине ненатуральное, цокающее щебетание птиц. Снасти. Стропила. Плавучий дом отдыха. Лубянская тюрьма.

Человек попадает в “ситуацию искусства” подобно тому, как, родясь, попадают в “ситуацию жизни”. Тогда для него всё — искусство, под каждым листком — и дом и стол. Говорят: “— Он что-то видит” (потому что — художник). А что он видит? Только одно: что всё полно искусством.

Я один кругом на свете,
Без подпорок и корней,

Без родных сестер и братьев,
Без отцов и матерей.

Тут вся сила во множественном числе. Безграмотность и неправильность речи, отклонения в жаргон, в диалект смещают слово — в поле слуха. Случается, и беспризорная сказка звучит реально, несмотря на заезжий сюжет злой мачехи или чужого отца. Восемилетний ребенок слышит, как отчим матери:

— Или он — или я!

— Не беспокойся, Степа, через неделю мы его похороним.

Тогда он убегает из дому, и начинается жизнь. “Наблюдается социальная запущенность и патологическое развитие личности” (из психиатрической экспертизы).

Когда ничего другого нет под руками, искусство начинает рассказывать о себе и на этом сюжете развязывает язык. Существовали поэты только о том и писавшие, что они — поэты. Искусство, как женщина, вертится перед зеркалом и смотрится на себя в ожидании гостя. Бывает, весь век оно так и сидит — в девках, но это уже не имеет значения.

Хорошо, когда в песне слово тянет слово и сюжет срабатывает, как условный рефлекс.

Там в семье прокурора, безусловно отрадней,
Дочь-красотка жила с золотой косой,
С голубыми глазами и по имени Нина, —
Как отец, горделива и красива собой.

(Вероятно, правильнее: “безупречно невинной”: рифма и по смыслу экспозиции.)

Было ей восемнадцать. Никому не доступна.
Понапрасну ребята увлекались ей —
Не подарит улыбкой, не полюбит как надо
И с каким-то презреньем все глядит на людей.

(Вот и нагладелась!)

Но однажды на танцах к ней, небыстрой походкой
И прилично одет, подошел паренек,
Суеверный мальчишка из преступного мира,
Поклонился он ей и увлек на бостон.

(Правильнее, наверное, все-таки: “и на танго увлек”. Бостон показался шикарнее и выбил рифму. Прекрасен эпитет “суеверный”, не имеющий никакого смысла, кроме декоративного.)

И красавица Нина, та же дочь прокурора,
Отдалась безвозвратно в его полную власть,
С немигающим взглядом и пытливостью вора
Осмотрел он ее, что козырную масть.

(Последние две строки — по высшему баллу.)

Сколько было огня, сколько было там ласки!
Воровская любовь коротка, но сильна,
Ничего он не хочет, ничего не желает,
Только тело красотки, только рюмку вина.

Но судьба уркагана изменяется быстро —
То тюрьма, то свобода, то опять лагеря...
И однажды во вторник, суеверный мальчишка,
Он спалил на бану и ее и себя.